**Наталья Иванова**

**Борис Пастернак. Времена жизни (отрывок)**

И вот я вникаю наощупь

В доподлинной повести тьму…

**Доподлинная повесть в четырех частях**

**Перед началом**

Борис Пастернак обладал даром счастья. «Плакал от счастья», даже умирая от инфаркта на коридорной больничной койке. Он не был расстрелян, как Гумилев, не погиб в лагере, как Мандельштам, не был доведен до самоубийства, как Цветаева, не прошел через ГУЛАГ, как Шаламов, не хлопотал о заключенном в тюрьму и лагерь сыне, как Ахматова. Но он был не удовлетворен своей, внешне сравнительно благополучной, жизнью, и сам вызвал свое несчастье, описав собственную вероятную судьбу в судьбе Юрия Живаго. Рискну сказать, что он в конце концов сотворил судьбу своих утрат в сотрудничестве с Творцом, полностью искупив видимость благополучия. В одном из писем Цветаевой он сказал: что могло быть счастьем, обернулось горем, – и тем самым заранее набросал вчерне свою судьбу.

«Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут меня, и жизни ход сопровождает их» – слова Тициана Табидзе, гениально переложенные Пастернаком, стали закономерностью и его жизни.

Борису Пастернаку нравилось называть книги словами и словосочетаниями, в которых дышит пространство («Воздушные пути», «Поверх барьеров», «Земной простор»), зреет рождение и родство («Сестра моя жизнь», «Второе рождение»). Или именами собственными нарекая им жизнь самостоятельную – «Лейтенант Шмидт», «Спекторский», «Доктор Живаго». Акцент не на себе – на пространстве, времени, состоянии жизни, наконец, герое. На *другом*. Желтая кофта Маяковского, громкость его жизни и жизни «свиты» была чуждой и молодому Пастернаку, донашивающему серый отцов сюртук изготовления 1891 года. Он не прижился в «ЛЕФе» не только по идеологическим или художественным соображениям, но и по соображениям эстетики поведения. И все же – он прекрасно понимал ценность своей нерукотворной жизни: «Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь…» И если Пастернак начал, *распахнутый* настежь и отчасти гордец, – «Я – свет. Я тем и знаменит, что сам бросаю тень. Я – жизнь земли, ее зенит, ее начальный день», если ему и жить было «невтерпь» – «Срываются поле и ветер, – о, быть бы и мне в их числе!», если он, как Золушка, «бежит – во дни удач на дрожках, а сдан последний грош, – и на своих двоих», если он вместе с Венецией готов бросаться «с набережных вплавь», если его забирают к себе «смех, сутолока, беготня», горизонт «театров, башен, боен, почт», если он захлебывается слезами – «навзрыд» – оттого, что наступил февраль, то свой путь заканчивает он как *смиренный*.

Его времена жизни – как времена года. «Прижимаюсь щекою к воронке завитой, как улитка, зимы» («Зима»). Он родился зимой, в начале года. В день гибели Пушкина – 29 января по старому стилю, 10 февраля по новому. «Итак, на дворе зима, улица на треть подрублена сумерками и весь день на побегушках». И ему, и его поэзии принадлежит годовой цикл во всей его сменяющейся полноте и во всем его многообразии.

Природа в ее календарном цикле осмысленно связана в восприятии Пастернака с поэзией: «Рифмует с Лермонтовым лето и с Пушкиным гусей и снег» («Любимая, – молвы слащавой…»). Думаю, что и «почвенная тяга», и «почва и судьба» – все это свидетельства соприродного творчеству единства: «подспудной тайной славы засасывающий словарь». И бессмертье обеспечено календарем – как природное воскрешение: «Всем тем, что сами пьем и тянем и будем ртами трав тянуть» (там же). Здесь, конечно, не грех помянуть Велимира Хлебникова с его «О Достоевскиймо грядущей тучи, о Пушкиноты млеющего полдня». Но вернемся к Пастернаку, к его зиме.

Зима – рождение и Рождество, зима – подарки волхвов. Зима – это удар казачьей нагайкой по спине; зима – это «Начальная пора» («Февраль. Достать чернил и плакать…»). Зимние стихи, зимний пейзаж, «свеча горела на столе» – конечно же зимой, протаивая лунку в замерзшем окне.

Была ли дана Пастернаку в ощущениях зима – как конец, как белая смерть? «Белой женщиной мертвой из гипса наземь падает навзничь зима». Но – разбойная «Вакханалия», счастливый «Первый снег», полный чудес «Снег идет»:

Снег идет, снег идет.

К белым звездочкам в буране

Тянутся цветы герани

За оконный переплет.

Зима – не предел теплу, а живой контраст цветению. «Ледяной цикламен», «Ледяной лимон обеден сквозь соломинку луча». Пламя и вьюга. Льды и теплица. Цветок и снежинка. Все это контрасты – и одновременно подобья. «Целый мир, целый город в снегу» («После вьюги»).

Я вижу из передней

В окно, как всякий год,

Своей поры последней

Отсроченный приход.

Пути себе расчистив,

На жизнь мою с холма

Сквозь желтый ужас листьев

Уставилась зима.

«Ложная тревога»

А весна – это уже и «Сестра моя жизнь», но и «Русская революция» («Как хорошо дышать тобою в марте…»). Весна – это жизнь взахлеб, но «ладонью заслоняясь», потому что из «фортки» дует холодный еще ветер. Весна – время первых книг, первой семьи, первенца-сына, ответившего потом отцу такой внимательной, заботливой любовью: книгами, переводами, собиранием, тщательным комментированием, безупречно подготовленными публикациями. «Что почек, что клейких заплывших огарков налеплено к веткам! Затеплен апрель. Возмужалостью тянет из парка…» Весна – это заклинание поэзии: «Поэзия! Греческой губкой в присосках будь ты, и меж зелени клейкой тебя б положил я на мокрую доску зеленой садовой скамейки».

Лето начинается в Ирпене. «Ирпень – это память о людях и лете, о воле, о бегстве из-под кабалы, о хвое на зное, о сером левкое и смене безветрия, вёдра и мглы». Как только в детстве спят – так только летом спят. Это – дача, это – море, это – Грузия, это – жар жизни: «Здесь будет спор живых достоинств» («Волны»).

На даче спят. В саду, до пят

Подветренном, кипят лохмотья.

Как флот в трехъярусном полете,

Деревьев паруса кипят.

Лопатами, как в листопад,

Гребут березы и осины…

«Вторая баллада»

Жар лета – это и «метель» цветов («полночных маттиол»), и Шопен, который «не ищет выгод», «недвижный Днепр», «соблазны южных смол» (первая «Баллада»). Лето – это «второе рождение», но на совсем другом полюсе, чем первое (лето супротив зимы). Летом – пир. Это «мы на пиру в вековом прототипе – на пире Платона во время чумы». Лето – зрелая, мужская страсть, лето – эрос, для которого не требуется «извилин», лето – живая прелесть жизни. Лето – легко «проснуться и прозреть». Снег на фоне летнего чувства – невыносим: «Все снег да снег, – терпи и точка. Скорей уж, право б…» Куда – скорей? Разумеется, в лето: «И солнце маслом асфальта б залило салат», к Илье-пророку («за тряскою четверкой, за безрессоркою Ильи…»). Здесь уже Пастернак – «артист в силе», который «создан весь земным теплом» («Художник»). Лето – это земля, «народ, как дом без кром, и мы не замечаем, что этот свод шатром, как воздух, нескончаем». Словом, «лето на кону». «И вот, бессмертные на время, мы к лику сосен причтены и от болей и эпидемий и смерти освобождены».

Не хочу сказать, что 30-е годы у Пастернака – *только* лето, но оно доминирует. И его духота – тоже (вторая половина 30-х).

И наконец, вторая половина 40-х – 50-е – осень, плодотворная, богатая, безусловно прекрасная (сам Пастернак все еще похож на юношу – правда, уже седого). Яркая, небывалая, горящая и горячая, жарко освещенная романом, стихами, новой любовью – но осень (время войны – отдельное, нарушившее календарный ход жизни, вернее, вычтенное из него). «Во всем мне хочется дойти», «Быть знаменитым некрасиво», «Душа», «Ева», «Без названия» – осенние стихи. Хотя у этой осени есть и своя весна («Весна в лесу»), и свое лето («Июль»). И все же – «Но время в сентябре отмерено так куцо: едва ль до нас заре сквозь чащу дотянуться».

«Хорошо умереть в такое богоданное время, когда земля расплачивается с людьми сторицею, отдает все долги сполна, вознаграждает нас с неслыханной щедростью» – если человек может выбирать время года для упокоения, то Пастернак выбирает осень: «Небо полностью синее, до отказа, вода с готовностью отражает и опрокидывает неслыханно раскрашенные рябины. Земля все отдала и готова к передышке»; эти слова о будущей смерти он скажет Ольге Ивинской, как бы договорив свой «Август».

А вечность для Пастернака – это круговорот жизни, это возвращение в зиму, в Рождество:

Будущего недостаточно.

Старого, нового мало.

Надо, чтоб елкою святочной

Вечность средь комнаты стала.

В одном из ранних стихотворений Пастернак скажет: «Я вишу на пере у творца крупной каплей лилового лоска…» Что означает: Бог пишет мною – и меня самого.

Бог, по Пастернаку, – сочинитель. Сочиняющий жизни и судьбы. Бог – пишущий, да еще (конкретно) – лиловыми, именно лиловыми чернилами.

Но и поэт, сочинитель – тоже божественной породы.

В переделкинском кабинете на письменном столе – почти пустом – стоит флакон из-под фиолетовых чернил. «Февраль. Достать чернил…»

Уподобив себя – творцу. Став – творцом.

В том числе – и своей судьбы?

Но «хозяином своей судьбы» Пастернак себя не ощущал, потому что ему не нужно было быть ее хозяином.

Таинственнее и глубже – быть пассивным: по-своему, конечно.

Если поэзия – это губка на садовой скамейке, которую поэт «выжмет» во здравие поэзии, то и сам поэт – тоже впитывающее, пластичное творение. Создание Божье.

Признаю, что пассивность, то есть подчиненность судьбе – не совсем точное слово.

Но то, что называется «подчиняться обстоятельствам», «плыть по воле волн», не всегда было столь уж чуждой Пастернаку тактикой жизненного поведения. И даже порой – спасительной для творчества: жить, занимаясь – усердно – своей работой, частной – и внутренней жизнью. «С кем протекли его боренья»? Не с обстоятельствами.

Ведь порою подчиниться обстоятельствам – значит пластично обойти их. Как бы проигнорировать. Практически не заметить. «Ты держишь меня, как изделье, и прячешь, как перстень, в футляр». Это уже конец: лепка завершена, гончарный круг остановился.

Можно сказать, что отчасти он лукавил.

Говорят, что линии судьбы на левой и правой ладонях отличаются друг от друга: на левой – от Бога, на правой – результат личной деятельности, работы над собственной биографией.

Поэты выбирают – между зрелищной биографией, навязывая публике свой облик, и тайной, вернее, скрытой от посторонних глаз жизнью. Пастернак не то чтобы сторонился зрелищности, нет, – современники поэта вспоминают, сколь замечательно легко он владел эстрадой, выступая после войны в Колонном зале или Политехническом музее. Но именно сравнивая свое поведение с поведением Маяковского или Есенина, еще в 20-е годы он выбрал образ жизни непубличный. Отношение к архивам («не надо заводить архивов, над рукописями трястись…») тоже говорит о его равнодушии к созданию особого образа поэта. Он считал, что жизнь поэта должна располагаться по краям его сочинений: «И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой отчеркивая на полях».

Расстаться со стихами, прозой, да и образом поэта невозможно. Причиной тому не только притягательность этой поэзии, но и событийное появление одиннадцатитомного собрания сочинений, снабженного уточненными комментариями (подготовку этого издания осуществили Евгений Борисович и Елена Владимировна Пастернак). Пять томов отданы переписке, ряд писем помечен звездочкой – «впервые».

После выхода моей монографии «Пастернак и другие» появились новые исследования, новые книги о Пастернаке, отчасти развившие (где – со ссылками, а где и без) мои размышления и анализ.

Если моя книга вызвала к жизни новые, то я, в свою очередь, благодарна предшественникам и исследователям. Моя книга не научное исследование, а интерпретация, попытка объяснить судьбу поэта в сотрудничестве – или конфликте – со временем.

**Отчеркивая на полях**

**1908**

«Боря был сдержан и являл вид воспитанного молодого человека».

К. Локс

**1911**

«…странный юноша, ходивший по московскому лютому морозу в одном тоненьком плаще…»

С. Бобров

**Май 1922**

«Лицом он похож на Пушкина, ростом выше».

А. Цветаева пересказывает М. Цветаеву

**1922**

«Он был какой-то особенный, ни на кого не похожий, в разговоре сумбурный, сыпал метафорами, перескакивал с одного образа на другой, что-то бубнил, гудел и всегда улыбался».

Л. Горнунг

«Не наружность – она для меня сливалась с общим обликом, как и голос и самые стихи, но, быть может, манера держаться – совершенно простая, юношеская, очень непосредственная, нескованная, полная и сердечности, и достоинства…

Он говорил так же непросто, как писал, – потому что мысль его шла путем метафор…»

Е. Кунина

«Вследствие перелома ноги в детстве одна нога у Б.Л. была короче другой. Из-за этого его не взяли в армию в 1914 году, что его тогда угнетало. Но Б.Л. выработал себе такую походку, что никакой хромоты нельзя было заметить. Походка получилась очень своеобразная, чуть-чуть женственная, быстрая. Узнать ее можно было из тысячи».

Е. Черняк

**1929**

«Он произвел впечатление огнем, который шел как бы изнутри, и сочетанием этого огня с большим умом».

«У него светились глаза, и он весь горел вдохновением».

З. Н. Нейгауз (Пастернак)

**1930**

«Кто-то брызжущий какими-то силами, словно в нем тысяча пружин. Пастернак».

«…Все реплики П. в разговоре с вами такие:

– Да… да… да… да… НЕТ!»

К. Чуковский

**10 мая 1932**

«Он был почему-то в расстроенном состоянии. Сразу начал жаловаться на трудности жизни. Сказал: „Пора помирать. Все так трудно: и материально, и нравственно… и в смысле семьи“».

А. Тарасенков

**1932**

«Ему помогли забраться на эстраду, и он, смущенно улыбаясь и теребя волосы, пытался отказаться и бормотал: „Ну зачем это, я не знаю, что читать“. И вдруг, поглядев в глубь зала с высоты эстрады, громко спросил: „Зина, как ты думаешь, что мне читать?“»

«Горячая взволнованность, прерывание ораторов репликами, стремление донести до аудитории и оппонента понимание содержания своих стихов… Горячая, взволнованная читка стихов…»

А. Тарасенков

**Лето 1934**

«Маленький (лет 13–14) сын Б. Л. ссорится и дерется с мальчиком меньше его по возрасту. Увидя это, Б. Л. стал трагическим и взволнованным голосом умолять сына прекратить драку. Он вмешивался, разнимал дерущихся и страшно волновался…»

А. Тарасенков

**1934**

«…перестал спать, нормально жить, часто плакал и говорил о смерти».

З. Н. Пастернак

**Лето 1935**

«…его везут одеваться в ателье, где ему приготовили новый костюм, пальто и шляпу. Я этому поверила, это было неудивительно: в том виде, в котором ходил Б. Л., являться в Париж было нельзя».

З. Н. Пастернак

**Июль 1935**

«…заходил в редакцию „Знамени“, после Парижского Конгресса. Вид у него был очень скверный, нездоровый. Б. Л. жаловался на то, что он не может работать, ничего не делает, не пишет, что на конгрессе ему было очень тяжко…

…Жаловался на то, что как-то потерял себя, много спит, чувствует себя плохо, не может работать».

А. Тарасенков

**1936**, встреча с грузинскими поэтами

«Б. Л., светящийся от восхищения, живо чувствующий радость, был как бы в невесомом состоянии. От избытка сил он схватил одного из своих друзей, неожиданно увиденных, и по широкой лестнице вынес его на руках и поставил на хорах, на втором этаже двухсветного зала. И предположить было невозможно, какой большой физической силой наделен Пастернак. Подумалось, что он пишет всем существом, как некоторые певцы поют всем телом, а не только горлом».

М. Гонта

**Середина 30-х**

«Я шла и все время про себя только и думала: „не дай мне Бог сразу попасть под чары Пастернака“. Пастернак обладал необыкновенным даром обольщать людей, всмотритесь в него – и готово: „Вы уже проглочены“».

М. П. Богословская (жена С. П. Боброва)

**6 мая 1940**

«По дороге он говорил, что на него очень действует весна. Всюду жизнь, парочки военных с девицами. „Хочется достать часы и посмотреть – сколько еще осталось жить“».

Л. Горнунг

**20 июля 1941**

«Удивляет меня Пастернак. Не может же он совсем не осознавать своей гениальности, а следовательно, и особой ценности своей жизни. Он же, как нарочно, бросается навстречу зажигалке, рискуя не только сгореть, но и попросту свалиться с крыши».

Вс. Иванов

**1947**

«Бодр, грудь вперед, голова вскинута вверх».

К. Чуковский

**1951**

«…счастливый, моложавый, магнетический, очень здоровый».

К. Чуковский

**50-е**

«Борис вставал рано утром и спускался вниз из своего кабинета, расположенного на втором этаже… Умывался он во дворе, даже зимой, при – 30°, так что он него шел пар. Когда он был помоложе, ходил купаться в реке по утрам. Веселый, бодрый, краснощекий, он заходил в столовую, и мы садились пить чай. Чай он пил очень крепкий, любил сам его заваривать… После чая Б. Л. сам мыл свою маленькую с синей каемкой чашку, говоря, что в это время он уже приступает к работе, – обдумывает план. Поставив чашку в буфет, он сразу шел в кабинет работать.

…До инфаркта он спускался из своего кабинета в час дня, снимал рубашку и шел на огород: он любил копать землю, окучивать картофель, вообще возиться в саду. Привозил навоз. Весной обрезал с яблонь сухие сучья, собирал листья и сжигал их, эти костры в саду он очень любил».

Н. Табидзе

**1956**

«Как долго сохранял П. юношеский, студенческий вид, а теперь это седой старичок – как бы присыпанный пеплом».

К. Чуковский

**8 февраля 1958** (переезд в больницу)

«З.Н. нахлобучила ему шапку, одела его в шубу; рабочие между тем разгребли снег возле парадного хода и пронесли его на носилках в машину. Он посылал нам воздушные поцелуи».

К. Чуковский

**22 апреля 1958**

«Пастернак – трагический, с перекошенным ртом, без галстука… Производит впечатление гения: обнаженные нервы, неблагополучный и гибельный».

К. Чуковский

**24 октября 1958**

«Лицо у него потемнело, он схватился за сердце и с трудом поднялся на лестницу к себе в кабинет. Мне стало ясно, что пощады ему не будет, что ему готовится гражданская казнь…»

К. Чуковский

**Осень 1958**

«Перед тем, как приходить к вам, мне нужно принимать ванну: так меня обливают помоями».

«…Б. Л. отнюдь не был ни мрачен, ни злобен. Нервен, встревожен – да. Но никого из тех, кто перестал приходить к нему и, как от чумы, бежал, издали завидев, он не осуждал».

Т. В. Иванова

**23 апреля 1959**

«…без шляпы, в сапогах, в какой-то беззаботной распашонке…»

К. Чуковский

**8 августа 1959**

«Он здоров, весел, в глазах „сумасшедшинка“».

К. Чуковский

**31 мая 1960**

«Он был создан для триумфов, он расцветал среди восторженных приветствий аудитории, на эстраде он был счастливейшим человеком, видеть обращенные к нему благодарные горячие глаза молодежи, подхватывающей каждое его слово, было его потребностью – тогда он был добр, находчив, радостен, немного кокетлив – в своей стихии! Когда же его сделали пугалом, изгоем, мрачным преступником, – он переродился, стал чуждаться людей…»

К. Чуковский

**1922**

«Этот непередаваемо-особенный голос, глубокий, гудящий, полный какого-то морского гула. Завыванье? Пенье? Нет, совсем не то».

Е. Кунина

**1930**

«Он умел хорошо молчать, когда человеческому голосу звучать не следовало».

О. Петровская

**1934**

«И как здорово он говорил – веско, умно, красиво, и как сам он выразителен: восточное лицо, напоминающее бедуина… жаркие, карие глаза, чеканный, чуть глуховатый голос, звучащий как голос заклинателя змей…»

Воспоминания участника Первого съезда советских писателей

**1935**

«И читал он стихи таким голосом, в котором слышалось: „Я сам знаю, что это дрянь и что работа моя никуда не годится, но что же поделаешь с вами, если вы такие идиоты“. Глотал слова, съедал ритмы, стирал фразировку».

К. Чуковский

**Конец 40-х**

«Если Б. Л. запинался, забыв слово или строчку, из публики сразу подсказывали. Его стихи знали, несмотря на то, что он мало печатался и не переиздавался. А читая свои стихи, Б. Л. часто внезапно запинался, забывал. Читал он без всяких внешних эффектов (как, например, Блок). Но удивительно – когда он читал, стихи становились ясными до прозрачности».

Е. Черняк

**Июнь 1959**

«…знакомый густой звук его слов…»

А. Цветаева

«Ахматова рассказывала, что когда к ней приходил Пастернак, он говорил так невнятно, что домработница, послушавшая разговор, сказала сочувственно: „У нас в деревне тоже был один такой. Говорит-говорит, а половина негоже“».

К. Чуковский

**Зима 1930**

«Б. Л. приходил сказать ему (Г. Г. Нейгаузу. – *Н. И.*), что он меня полюбил и что это чувство у него никогда не пройдет. Он еще не представляет себе, как все сложится в жизни, но он вряд ли сможет без меня жить. Они оба сидели и плакали, оттого что очень любили друг друга и были дружны».

З. Н. Пастернак

**Лето 1933**

«По приезде в Москву Б. Л. пошел в Союз писателей и заявил, что удрал с Урала без задних ног и строчки не напишет, ибо видел там страшные бедствия: бесконечные эшелоны крестьян, которых угоняли из деревень и переселяли, голодных людей, ходивших на вокзалах с протянутой рукой, чтобы накормить детей».

З. Н. Пастернак

**Середина 30-х**

«Поражал он также своим удивительным умением слушать – не из любезности, не из вежливости, нет, из человеколюбия, из уважения к человеку, кто бы он ни был. П. умел слушать на редкость внимательно, все запоминая. Он часто потом вспоминал и рассказывал эти случайные разговоры. Он умел заставить другого человека уважать себя, как бы поднимал собеседника в его же собственных глазах».

Н. Табидзе

**Конец 30-х**

«Он был лучше и добрее родного брата. Я думаю, мало было в то время таких братьев и сестер, которые бы без страха и с такой любовью заботились о близких».

«Он очень любил цветы, но не любил срезанные, в вазах. Я думаю, он их жалел».

Н. Табидзе

**40-е**

«Б. Л. был чрезвычайно радушным хозяином. Любил созвать людей и на славу их угостить».

«Застольные тосты Б. Л. – настоящие произведения искусства».

Т. В. Иванова

**20 октября 1953**

«Боря Пастернак кричал мне из-за забора:

„Начинается новая эра, хотят издавать меня!“»

К. Чуковский

**50-е**

«Невероятная непосредственность была его основной чертой. Безудержность выразить себя, какое-то свое чувство, и полное отсутствие игры и позы. Он не поддался никакому испытанию. Он был таким, каким человек был задуман».

А. Цветаева

**23 апреля 1959**

«…встретился на дорожке у дома с Фединым – и пожал ему руку – и что в самом деле! начать разбирать, этак никому руку подавать невозможно!»

К. Чуковский

**Конец 50-х**

«…и дает уборщице пятерку. По этому случаю один старик сказал: ему легко швырять деньги. Он продался американцам – читали в газетах? Все эти деньги у него – американские».

К. Чуковский

«Вы воображаете, что он жертва. Будьте покойны: он имеет чудесную квартиру и дачу, богач, живет себе припеваючи, получает большой доход со своих книг».

В. Катаев

**1908**

«Комната, в которой помещался Борис вместе с братом, была безличной, очень чистой и аккуратно убранной комнатой с двумя столиками, двумя кроватями и какой-то стерилизованной скукой в воздухе».

К. Локс

**Лето 1922**

«Б. Л. жил тогда на Волхонке, 14, на втором этаже, в бывшей квартире своих родителей. Из прихожей была дверь в комнату, занимаемую братом, Александром Леонидовичем. Другая дверь вела в бывшую столовую. Комната, мне помнится, темноватая, длинная, с длинным столом. Позднее ее разделили занавеской, стол поставили круглый. На стенах висели эскизы и наброски отца Пастернака, Серова, других художников. Я помню эскизы к картине Серова „Девочка с яблоками“ и портрету „Мика Морозов“… Из столовой, выходившей во двор, одна или несколько дверей вели в комнаты, выходившие по фасаду… Они были, кажется, большие, перегороженные и полупустые. Помню только, что, проходя в комнату Б. Л., заметила большое кресло с высокой резной спинкой черного дерева… Комната Б. Л. была большая, тоже темноватая и полупустая. Позднее ее тоже перегородили занавеской. Сразу у входа стояло пианино. В течение вечера Б. Л. вдруг сел за рояль и начал импровизировать… Около пианино стоял большой ящик».

Е. Черняк

**Лето 1927**

«Пастернаки жили в деревне Мутовка (версты три от станции Хотьково Северной ж.д.). Дом, в котором жили Пастернаки, был крайним. Вход с улицы был нормальным, как обычно, но терраса шла сбоку дома во всю длину, построена была на высоких сваях и смотрела на реку. В той же деревне жили все сестры Вильмонт… Утром я проснулась рано, вышла на террасу и увидела, как Б. Л. с полотенцем через плечо спускался к речке. Он очень любил купаться, купался до глубокой осени».

Е. Черняк

**1926**

«Борис Леонидович просил меня помочь ему продать журналы… говорил, что лишние книги – обуза и нельзя быть врагом книг, складывая их по углам».

Л. Горнунг

**1929**

«Б. Л. нелепо извинялся за то, что ему надо снять трубу с перекипающего самовара».

А. Тарасенков

**2 декабря 1929**

«Я не живу сейчас. Дома, когда ко мне приходят, я в ужасе, так как сам не чувствую себя дома, все временно. Убрал со стен многие произведения отца. Спокойнее только в гостях…»

Л. Горнунг

**1930**

«Он рассказывал, что обожает топить печки. На Волхонке у них нет центрального отопления, и он топит всегда сам, не потому, что считает, что делает это лучше других, а потому, что любит дрова и огонь и находит это красивым».

З. Н. Нейгауз (Пастернак)

**18 августа 1931**

«Вместе с Александром Леонидовичем я фотографировал из окна квартиры Пастернака на Волхонке храм Христа Спасителя, приготовленный для взрыва.

Золото с купола уже снято, и остался только огромный металлический каркас».

Л. Горнунг

**Лето 1933**

«Время было голодное, и нас снова прикрепили к обкомовской столовой, где прекрасно кормили и подавали горячие пирожные и черную икру. В тот же день к нашему окну стали подходить крестьяне, прося милостыню и кусочек хлеба. Мы уносили из столовой в карманах хлеб для бедствующих крестьян… Б. Л. весь кипел, не мог переносить, что кругом так голодают…»

З. Н. Пастернак

**1936**

«…и по сию пору всех удивляет эта двухэтажная квартира (в Лаврушинском. – *Н. И*.), а в особенности в 37-м и 38-м годах, когда начались аресты, пошли разговоры, не в конспиративных ли целях у нас такая квартира».

З. Н. Пастернак

**Лето 1936**

«Помню невероятное возмущение Б. Л. тем, что у него требовал интервью репортер об обслуживании переделкинских дачников гастрономом. Б. Л. хотели даже заставить сняться на фоне грузовика, привозившего в Переделкино продукты…»

А. Тарасенков

**Декабрь 1945**

«Вообще у нас (и в особенности у меня) скорее все тает, изнашивается и пропадает, нежели появляется и доступно приобретенью. У меня очень легкий вещевой багаж, как у студента, несмотря на старость и присутствие детей… У нас обстановка очень несложная. Я не храню ни черновиков своих, ни писем, у меня почти нет библиотеки».

Б. Л. Пастернак в письме к Ж. Л. и Л. Л. Пастернак

**4 декабря 1948**

«Он был в своей верхней квартире. Как всегда, он был очень мил и радушен, обрадовался моему приходу. Он задержал меня в своем маленьком кабинетике (первая комната направо из передней).

Во время войны на крыше дома в Лаврушинском переулке стояла батарея ПВО, солдаты жили в его квартире».

Л. Горнунг

**Лето 1949**

«…квартира… производила впечатление нежилой: мебель в чехлах, никаких мелочей, пустые стены. Мы зашли сразу из прихожей в маленький кабинет Б. Л. Несколько застекленных книжных шкафов по стенам, пустой письменный стол».

Е. Черняк

**31 декабря 1949**

«В новогодний вечер часов в 9 мы с Анастасией Васильевной вышли прогуляться. Погода была мягкая, шел небольшой снег… Проходя мимо Лаврушинского переулка, мы решили поздравить Пастернаков с Новым годом. Когда мы поднялись наверх и позвонили, Борис Леонидович открыл нам дверь с обычным для него радушным приветствием и радостными восклицаниями. Разговор был недолгий, в дверях, и мы стали прощаться. Борис Леонидович сказал, что Зинаида Николаевна еще у себя в нижней квартире. Мы уже спустились на один марш лестницы, как Борис Леонидович, стоявший в раскрытой двери квартиры, закричал: „Стойте, стойте! Пока нет Зины, я вам отхвачу кусок вертуты…“»

Л. Горнунг

**12 июля 1954**

«Зимой был ремонт дачного дома, который мы арендуем у Литфонда. Он переделан и превращен во дворец. Водопровод, ванна, газ, три новых комнаты. Мне неловко в этих помещениях, это не по чину мне, мне стыдно стен огромного моего кабинета с паркетным полом и центральным отоплением».

Б. Л. Пастернак в письме к О. М. Фрейденберг

**Конец 50-х**

«Мало заботясь об обстановке (в квартире на Лаврушинском и в переделкинской даче единственное украшение – развешанные по стенам окантованные рисунки Леонида Осиповича Пастернака), Б. Л. обращал большое внимание на сервировку стола и собственнолично покупал, даря Зинаиде Николаевне, хрусталь и фарфор».

«Тон давался неповторимыми тостами Пастернака, а также музыкой (Юдина, Рихтер, Дорлиак, оба Нейгаузы) и чтением стихов (сам Б. Л. читал редко; чаще других Ахматова или кто-нибудь из приглашенных друзей: иногда приезжие грузины…)»

Т. В. Иванова

**26 апреля 1953**

«…в его очаровательной комнате, где он работает над корректурами „Фауста“. Комната очаровательна необычайной простотой, благородной безыскусственностью: сосновые полки с книгами на трех-четырех языках (книг немного, только те, что нужны для работы), простые сосновые столы и кровать…»

К. Чуковский

**21 августа 1930**

«Мне мешают сейчас глупые ночные бабочки в мохнатых штанах, которые безбожно вьются вокруг лампы, с разлета кидаются в чернильницу или садятся на перо и на ручку. Свежая ночь после душного дня, далеко стороной где-то проходящая гроза, керосиновая лампа на большой (и действительно, посреди этого черного воздуха кругом кажущейся неизмеримой) террасе, главное же – эти мошки и мотыльки, – сколько это все должно было бы напомнить! Но революция или возраст, – а прошлое работает слабо, субъективный лабиринт не отклоняет простых и прямых ощущений, и мне жалко только их, а не себя, как это бывало раньше. Жалко того, что раскаленное стекло не охлаждает их пыла…»

Б. Пастернак – О. Фрейденберг

**Лето 1934**

«Я не хочу, чтобы мы, говоря о своей любви и своей сирени, обязательно указывали бы, что это не фашистская сирень, не фашистская любовь. Пусть лучше фашисты пишут на своих любви и сирени, что это-де не марксистская любовь, не марксистская сирень. Я не хочу, чтобы в поэзии все советское было обязательно хорошим. Нет, пусть наоборот, все хорошее будет советским…»

Записано А. Тарасенковым

**26 октября 1934**, вступительное слово на вечере памяти Лермонтова:

«Нам, русским, всегда было легче выносить и свергать татарское иго, воевать, болеть чумой, чем жить. Для Запада же жить представлялось легким и обыденным».

Записано А. Тарасенковым

**11 марта 1936**, разговор в ресторане Дома писателей:

«Термины „формализм“, „натурализм“ ничего не значат, ими жонглируют без толку; если завтра будет новая кампания, те же люди будут говорить снова, может быть, даже обратное по смыслу».

Записано А. Тарасенковым

**13 марта 1936**

«Не орите, а если уж орете, то не все на один голос, орите на разные голоса».

Отчет об общемосковском собрании писателей, «Литературная газета»

**16 марта 1936**, выступление на собрании московских писателей:

«Так вот, товарищи, тысячу раз меня бы истерзали третьи руки, если бы в это дело не вмешалась партия, благодаря ей я существую. У меня бывали случаи, когда на меня готовы были налететь за обмолвку или еще за что-нибудь такое, но только вмешательство, прикосновение партии, то отдаленнейшее прикосновение, которое формирует нашу жизнь, дает лицо эпохе, составляет мою жизнь, кровь и судьбу, – только это вмешательство отвращало это».

**16 декабря 1936**

«…Пастернак в своих кулуарных разговорах доходит до того, что выражает солидарность свою даже с явной подлой клеветой из-за рубежа на нашу общественную жизнь».

Ответственный секретарь Союза писателей В. Ставский

**Без даты, конец 30-х**

«Все мы живем на два профиля – общественный, радостный, восторженный, – и внутренний, трагический».

«В эти страшные и кровавые годы мог быть арестован каждый. Мы тасовались, как колода карт. И я не хочу по-обывательски радоваться, что я цел, а другой нет. Нужно, чтобы кто-нибудь гордо скорбел, носил траур, переживал жизнь трагически».

Записано А. Тарасенковым

**12 марта 1942**

«…Мне хотелось рассказать Вам… о наших попытках заговорить по-другому, о новом духе большей гордости и независимости, пока еще зачаточных… двое-трое из нас с безличьем и бессловесностью последних лет расстались безвозвратно».

Из письма Т. и Вс. Ивановым

«Чистосердечно повторяю, что это отнюдь не ново в России и она перестанет быть собою, когда станет замечать и выделять людей не с тем, чтобы медленно их потом удушать и мучить».

«Культуру, – книжку, плотно убитую картинками, страницами музыки, философии, городами, диккенсовскими густотами и прочим – сменят поля, нищие тучи, нищие галки. Ты будешь плакать и будешь одна в купе, очень сером и очень обширном. Проводник на остановках, очень продолжительных и частых, будет громко скидывать охапки деревянных чурок в тамбуре, с площадок будет тянуть холодом и вонью. Но, разумеется, это родина (великая вещь), и в смешанной горечи этих ощущений много волнующего, обогащающего, поучительного».

«…Как перерождает, каким пленником времени делает эта доля, это нахождение себя во всеобщей собственности… Потому что и в этом извечная жестокость несчастной России, когда она дарит кому-нибудь любовь, избранник уже не спасется с глаз ее. Он как бы попадает перед ней на римскую арену, обязанный ей зрелищем за ее любовь».

Из писем сестре Жозефине

**24 октября 1958**

«Верю в существование высших сил не только на земле, но и на небе».

Из письма министру культуры Е. Фурцевой

**Часть I**

**Время жизни: зима**

Прижимаюсь щекою к воронке

Завитой, как улитка, зимы.

«По местам, кто не хочет – к сторонке!»

Шумы-шорохи, гром кутерьмы.

«Значит – в „море волнуется“? В повесть,

Завивающуюся жгутом,

Где вступают в черед, не готовясь?

Значит – в жизнь? Значит – в повесть о том,

Как нечаян конец? Об уморе,

Смехе, сутолоке, беготне?

Значит – вправду волнуется море

И стихает, не справясь о дне?»

Это раковины ли гуденье?

Пересуды ли комнат-тихонь?

Со своей ли поссорившись тенью,

Громыхает заслонкой огонь?

Поднимаются вздохи отдушин

И осматриваются – и в плач.

Черным храпом карет перекушен,

В белом облаке скачет лихач.

И невыполотые заносы

На оконный ползут парапет.

За стаканчиками купороса

Ничего не бывало и нет.

«Зима»

**Арка фатальности**

«В возрастах отлично разбиралась Греция. Она остерегалась их смешивать. Она умела мыслить детство замкнуто и самостоятельно, как заглавное интеграционное ядро».

Б. Пастернак «Охранная грамота»

Детство всегда ощущалось Борисом Пастернаком как дар. И не только Пастернаком – вспомним ахматовское о Пастернаке: «Он награжден каким-то вечным детством». Пастернак, как и Ахматова (впрочем, как и И. Бродский – после), терпеть не мог З. Фрейда с его учением. Потому что – «о детство, ковш душевной глуби», а не то, что в детстве укусила змея секса и ненависти к отцу или матери, эдипов комплекс, комплекс Электры и т. п.

Как и всякий дар, детство можно сохранить, а можно и утратить. Растратить. Или просто потерять.

Причем понимание это – мудрое – было присуще поэту и в ранней юности (что странно – от детства в юности хотят отойти как можно дальше), и в зрелости, и в возрасте более чем серьезном: он все равно обладал волшебным даром детства, как нерастраченным запасом – зренья, обонянья и, разумеется, стихо-творенья. Последнее стихотворение Пастернака, написанное в январе 1959-го, уже после Нобелевской премии, после «зверя в загоне», – стихотворение совсем молодого человека.

И любящие, как во сне,

Друг к другу тянутся поспешней,

И на деревьях в вышине

Потеют от тепла скворешни.

И полусонным стрелкам лень

Ворочаться на циферблате,

И дольше века длится день,

И не кончается объятье.

А за полгода до «Единственных дней» появились «Женщины в детстве», где возвращенное детство властно забирает воображение:

В детстве, я как сейчас еще помню,

Высунешься, бывало, в окно,

В переулке, как в каменоломне,

Под деревьями в полдень темно.

Детство – больше чем просто впечатления плюс первый опыт. Детство для Пастернака – своя, домашняя античность: «…мне хотелось по саду пройти, там бы я нашел, по драгоценности, настоящие Микены».

В «бесконечном», по его же определению, послании отцу осенью 1924 года Пастернак, неожиданно (поэт особо ценил такие странные, никак не запланированные, «чем случайней, тем вернее» совпадения) оказавшийся неподалеку от дома своего рождения, уже отец годовалого сына, вспоминая себя – годовалым сыном, пишет отцу:

«я пересек Садовую и скоро очутился против бывшей Духовной Семинарии, в Оружейном переулке. (…) Я бродил и бродил там, и ничто моим воспоминаньям не говорило, пока я не пошел по продолженью Оружейного по Божедомскому переулку. Тут недалеко от скрещенья Божедомского с Волконским пер. я все увидел и узнал. Я увидел забор и большое одинокое дерево над ним (из Семинарского сада), и боковую часть сада, и кривизну заворачивающего налево переулка, и увидел так и такими, какими всегда видел в смутном своем воспоминаньи».

Запись, сделанная 13 февраля 1890 года по старому стилю в метрической книге Московской синагоги, свидетельствует: «Сын, имя дано ему Борис» появился на свет 21 месяца шевата, обрезан по слабости 5 месяца адара. Место рождения – Арбатская часть, 2 участок по Оружейному переулку, дом Веденеева. «Отец – запасный младший фейерверкер из вольноопределяющихся, действительный студент Исаак Иосиев Постернак, мать – Райца (она же Роза) Срулева Кауфман (по отцу)».

Леонид Осипович Пастернак познакомился с молодой, но уже известной пианисткой Розалией Кауфман в Одессе, где после окончания Новороссийского университета находился на военной службе.

Жизнь семьи при рождении первенца была скромной: отец только «начинал свою карьеру», по достатку и квартира: в неважном доме в бедноватом районе, – оттуда отец «поведет свой корабль».

Родители – люди южные, пылкие, одесские, а мальчик – северный, появившийся на свет в московских снегах.

Не соблюдая обрядов вероисповедания, Пастернаки сохраняли верность происхождению. Леонид Осипович в свое время ответил директору Училища, князю Львову, что на крещение по конъюнктурным соображениям он не пойдет.

Летом 1890 года – Борису полгода! – из Москвы выселяли евреев-ремесленников.

На семью профессора уже московского Училища живописи, ваяния и зодчества Леонида Осиповича Пастернака (можно сказать, дважды профессорскую – Розалия Исидоровна Кауфман до замужества занимала должность в Одесском отделении Императорского русского музыкального общества) – указ о выселении не распространялся, но «паника среди евреев» такова, что «работать не хочется, – пишет Леонид Осипович жене, отдыхавшей с крошечным сыном у родителей в Одессе. – И куда они денутся, все эти несчастные. Скверно!»

Против дискриминации подняло свой голос общество фабрикантов и заводчиков Московского района, обратившееся к правительству со специальной запиской: «Стеснять свободу, перемещая людей, равносильно тому, чтобы затруднять свободное кровообращение в живом организме».

Леонид Пастернак не ощущал себя изгоем – он был не только принят, но и любим художественно-артистической, музыкальной и литературной московской средой.

Происхождение не стало препятствием ни для работы, ни для дружбы.

Но для того чтобы стать равным среди прочих, необходимо было быть безукоризненным. Безупречным.

Это пришлось рано понять и его первенцу.

«…Я проснулся от сладкой, щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной. Я закричал и заплакал от тоски и страха. Но музыка заглушала мои слезы, и только когда разбудившую меня часть трио доиграли до конца, меня услышали».

Мать вынесла сына из детской в гостиную.

Он запомнил табачный дым, сквозь который мигали свечи, освещавшие мощное тело рояля, красное лакированное дерево струнных, седину Льва Толстого, приехавшего к Пастернакам с дочерьми. «Эта ночь, – запишет незадолго до собственной кончины Борис Пастернак, – межевою вехой пролегла между беспамятством младенчества и моим дальнейшим детством. С ним пришла в действие моя память и заработало сознание, отныне без больших перерывов, как у взрослого».

Ноябрьская, 1894 года, ночь.

У колыбели Пастернака стояли волхвы с дарами.

Дар музыкальный – от матери-пианистки, которую после одного из ее выступлений, еще девочкой, поднял на руки Антон Рубинштейн, воскликнув: «Вот так надо играть!»

Дар изобразительный, пластический – от отца, Леонида Осиповича Пастернака.

И наконец, дар слова – не ото Льва ли Толстого?

Мальчик плачет.

Судьба уже определена – его разбудило траурное трио, поминовение двух великих музыкантов России: Чайковского и Рубинштейна.

Но мальчик может быть утешен: лучшее из возможного ему успело подарить искусство «золотого» века, стремительно уходящего в прошлое.

«Разбуженный Богом», – скажет он затем.

Из купечески-мещанского, застроенного приземистыми домиками Оружейного переулка (дом, где родился поэт, сохранился до сих пор; к сожалению, центр, который мог бы существовать в его стенах или в стенах музея – переделкинской дачи – существует только в мечтах пастернаковедов России и всего мира) Пастернаки переезжают на роскошную, с зеркальными витринами на первых этажах новеньких доходных домов в стиле модерн, Мясницкую. Квартира семьи профессора располагалась во флигеле внутри училищного двора. Чуть позже, уже в начале двадцатого века, Пастернаки переедут в главное здание, где для них будет оборудована новая квартира, предоставленная профессору бесплатно. Училище состояло в ведении Министерства Императорского двора, его попечителем был великий князь Сергей Александрович (главное здание училища, где при Екатерине находилась масонская ложа, сохранилось, несмотря на пожар 1812 года).

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | * [1](http://modernlib.ru/books/natalya_borisovna_ivanova/boris_pasternak_vremena_zhizni/read_1/), **2** | |

З. Н. Пастернак

**1936**

«…и по сию пору всех удивляет эта двухэтажная квартира (в Лаврушинском. – *Н. И*.), а в особенности в 37-м и 38-м годах, когда начались аресты, пошли разговоры, не в конспиративных ли целях у нас такая квартира».

З. Н. Пастернак

**Лето 1936**

«Помню невероятное возмущение Б. Л. тем, что у него требовал интервью репортер об обслуживании переделкинских дачников гастрономом. Б. Л. хотели даже заставить сняться на фоне грузовика, привозившего в Переделкино продукты…»

А. Тарасенков

**Декабрь 1945**

«Вообще у нас (и в особенности у меня) скорее все тает, изнашивается и пропадает, нежели появляется и доступно приобретенью. У меня очень легкий вещевой багаж, как у студента, несмотря на старость и присутствие детей… У нас обстановка очень несложная. Я не храню ни черновиков своих, ни писем, у меня почти нет библиотеки».

Б. Л. Пастернак в письме к Ж. Л. и Л. Л. Пастернак

**4 декабря 1948**

«Он был в своей верхней квартире. Как всегда, он был очень мил и радушен, обрадовался моему приходу. Он задержал меня в своем маленьком кабинетике (первая комната направо из передней).

Во время войны на крыше дома в Лаврушинском переулке стояла батарея ПВО, солдаты жили в его квартире».

Л. Горнунг

**Лето 1949**

«…квартира… производила впечатление нежилой: мебель в чехлах, никаких мелочей, пустые стены. Мы зашли сразу из прихожей в маленький кабинет Б. Л. Несколько застекленных книжных шкафов по стенам, пустой письменный стол».

Е. Черняк

**31 декабря 1949**

«В новогодний вечер часов в 9 мы с Анастасией Васильевной вышли прогуляться. Погода была мягкая, шел небольшой снег… Проходя мимо Лаврушинского переулка, мы решили поздравить Пастернаков с Новым годом. Когда мы поднялись наверх и позвонили, Борис Леонидович открыл нам дверь с обычным для него радушным приветствием и радостными восклицаниями. Разговор был недолгий, в дверях, и мы стали прощаться. Борис Леонидович сказал, что Зинаида Николаевна еще у себя в нижней квартире. Мы уже спустились на один марш лестницы, как Борис Леонидович, стоявший в раскрытой двери квартиры, закричал: „Стойте, стойте! Пока нет Зины, я вам отхвачу кусок вертуты…“»

Л. Горнунг

**12 июля 1954**

«Зимой был ремонт дачного дома, который мы арендуем у Литфонда. Он переделан и превращен во дворец. Водопровод, ванна, газ, три новых комнаты. Мне неловко в этих помещениях, это не по чину мне, мне стыдно стен огромного моего кабинета с паркетным полом и центральным отоплением».

Б. Л. Пастернак в письме к О. М. Фрейденберг

**Конец 50-х**

«Мало заботясь об обстановке (в квартире на Лаврушинском и в переделкинской даче единственное украшение – развешанные по стенам окантованные рисунки Леонида Осиповича Пастернака), Б. Л. обращал большое внимание на сервировку стола и собственнолично покупал, даря Зинаиде Николаевне, хрусталь и фарфор».

«Тон давался неповторимыми тостами Пастернака, а также музыкой (Юдина, Рихтер, Дорлиак, оба Нейгаузы) и чтением стихов (сам Б. Л. читал редко; чаще других Ахматова или кто-нибудь из приглашенных друзей: иногда приезжие грузины…)»

Т. В. Иванова

**26 апреля 1953**

«…в его очаровательной комнате, где он работает над корректурами „Фауста“. Комната очаровательна необычайной простотой, благородной безыскусственностью: сосновые полки с книгами на трех-четырех языках (книг немного, только те, что нужны для работы), простые сосновые столы и кровать…»

К. Чуковский

**21 августа 1930**

«Мне мешают сейчас глупые ночные бабочки в мохнатых штанах, которые безбожно вьются вокруг лампы, с разлета кидаются в чернильницу или садятся на перо и на ручку. Свежая ночь после душного дня, далеко стороной где-то проходящая гроза, керосиновая лампа на большой (и действительно, посреди этого черного воздуха кругом кажущейся неизмеримой) террасе, главное же – эти мошки и мотыльки, – сколько это все должно было бы напомнить! Но революция или возраст, – а прошлое работает слабо, субъективный лабиринт не отклоняет простых и прямых ощущений, и мне жалко только их, а не себя, как это бывало раньше. Жалко того, что раскаленное стекло не охлаждает их пыла…»

Б. Пастернак – О. Фрейденберг

**Лето 1934**

«Я не хочу, чтобы мы, говоря о своей любви и своей сирени, обязательно указывали бы, что это не фашистская сирень, не фашистская любовь. Пусть лучше фашисты пишут на своих любви и сирени, что это-де не марксистская любовь, не марксистская сирень. Я не хочу, чтобы в поэзии все советское было обязательно хорошим. Нет, пусть наоборот, все хорошее будет советским…»

Записано А. Тарасенковым

**26 октября 1934**, вступительное слово на вечере памяти Лермонтова:

«Нам, русским, всегда было легче выносить и свергать татарское иго, воевать, болеть чумой, чем жить. Для Запада же жить представлялось легким и обыденным».

Записано А. Тарасенковым

**11 марта 1936**, разговор в ресторане Дома писателей:

«Термины „формализм“, „натурализм“ ничего не значат, ими жонглируют без толку; если завтра будет новая кампания, те же люди будут говорить снова, может быть, даже обратное по смыслу».

Записано А. Тарасенковым

**13 марта 1936**

«Не орите, а если уж орете, то не все на один голос, орите на разные голоса».

Отчет об общемосковском собрании писателей, «Литературная газета»

**16 марта 1936**, выступление на собрании московских писателей:

«Так вот, товарищи, тысячу раз меня бы истерзали третьи руки, если бы в это дело не вмешалась партия, благодаря ей я существую. У меня бывали случаи, когда на меня готовы были налететь за обмолвку или еще за что-нибудь такое, но только вмешательство, прикосновение партии, то отдаленнейшее прикосновение, которое формирует нашу жизнь, дает лицо эпохе, составляет мою жизнь, кровь и судьбу, – только это вмешательство отвращало это».

**16 декабря 1936**

«…Пастернак в своих кулуарных разговорах доходит до того, что выражает солидарность свою даже с явной подлой клеветой из-за рубежа на нашу общественную жизнь».

Ответственный секретарь Союза писателей В. Ставский

**Без даты, конец 30-х**

«Все мы живем на два профиля – общественный, радостный, восторженный, – и внутренний, трагический».

«В эти страшные и кровавые годы мог быть арестован каждый. Мы тасовались, как колода карт. И я не хочу по-обывательски радоваться, что я цел, а другой нет. Нужно, чтобы кто-нибудь гордо скорбел, носил траур, переживал жизнь трагически».

Записано А. Тарасенковым

**12 марта 1942**

«…Мне хотелось рассказать Вам… о наших попытках заговорить по-другому, о новом духе большей гордости и независимости, пока еще зачаточных… двое-трое из нас с безличьем и бессловесностью последних лет расстались безвозвратно».

Из письма Т. и Вс. Ивановым

«Чистосердечно повторяю, что это отнюдь не ново в России и она перестанет быть собою, когда станет замечать и выделять людей не с тем, чтобы медленно их потом удушать и мучить».

«Культуру, – книжку, плотно убитую картинками, страницами музыки, философии, городами, диккенсовскими густотами и прочим – сменят поля, нищие тучи, нищие галки. Ты будешь плакать и будешь одна в купе, очень сером и очень обширном. Проводник на остановках, очень продолжительных и частых, будет громко скидывать охапки деревянных чурок в тамбуре, с площадок будет тянуть холодом и вонью. Но, разумеется, это родина (великая вещь), и в смешанной горечи этих ощущений много волнующего, обогащающего, поучительного».

«…Как перерождает, каким пленником времени делает эта доля, это нахождение себя во всеобщей собственности… Потому что и в этом извечная жестокость несчастной России, когда она дарит кому-нибудь любовь, избранник уже не спасется с глаз ее. Он как бы попадает перед ней на римскую арену, обязанный ей зрелищем за ее любовь».

Из писем сестре Жозефине

**24 октября 1958**

«Верю в существование высших сил не только на земле, но и на небе».

Из письма министру культуры Е. Фурцевой

**Часть I**

**Время жизни: зима**

Прижимаюсь щекою к воронке

Завитой, как улитка, зимы.

«По местам, кто не хочет – к сторонке!»

Шумы-шорохи, гром кутерьмы.

«Значит – в „море волнуется“? В повесть,

Завивающуюся жгутом,

Где вступают в черед, не готовясь?

Значит – в жизнь? Значит – в повесть о том,

Как нечаян конец? Об уморе,

Смехе, сутолоке, беготне?

Значит – вправду волнуется море

И стихает, не справясь о дне?»

Это раковины ли гуденье?

Пересуды ли комнат-тихонь?

Со своей ли поссорившись тенью,

Громыхает заслонкой огонь?

Поднимаются вздохи отдушин

И осматриваются – и в плач.

Черным храпом карет перекушен,

В белом облаке скачет лихач.

И невыполотые заносы

На оконный ползут парапет.

За стаканчиками купороса

Ничего не бывало и нет.

«Зима»

**Арка фатальности**

«В возрастах отлично разбиралась Греция. Она остерегалась их смешивать. Она умела мыслить детство замкнуто и самостоятельно, как заглавное интеграционное ядро».

Б. Пастернак «Охранная грамота»

Детство всегда ощущалось Борисом Пастернаком как дар. И не только Пастернаком – вспомним ахматовское о Пастернаке: «Он награжден каким-то вечным детством». Пастернак, как и Ахматова (впрочем, как и И. Бродский – после), терпеть не мог З. Фрейда с его учением. Потому что – «о детство, ковш душевной глуби», а не то, что в детстве укусила змея секса и ненависти к отцу или матери, эдипов комплекс, комплекс Электры и т. п.

Как и всякий дар, детство можно сохранить, а можно и утратить. Растратить. Или просто потерять.

Причем понимание это – мудрое – было присуще поэту и в ранней юности (что странно – от детства в юности хотят отойти как можно дальше), и в зрелости, и в возрасте более чем серьезном: он все равно обладал волшебным даром детства, как нерастраченным запасом – зренья, обонянья и, разумеется, стихо-творенья. Последнее стихотворение Пастернака, написанное в январе 1959-го, уже после Нобелевской премии, после «зверя в загоне», – стихотворение совсем молодого человека.

И любящие, как во сне,

Друг к другу тянутся поспешней,

И на деревьях в вышине

Потеют от тепла скворешни.

И полусонным стрелкам лень

Ворочаться на циферблате,

И дольше века длится день,

И не кончается объятье.

А за полгода до «Единственных дней» появились «Женщины в детстве», где возвращенное детство властно забирает воображение:

В детстве, я как сейчас еще помню,

Высунешься, бывало, в окно,

В переулке, как в каменоломне,

Под деревьями в полдень темно.

Детство – больше чем просто впечатления плюс первый опыт. Детство для Пастернака – своя, домашняя античность: «…мне хотелось по саду пройти, там бы я нашел, по драгоценности, настоящие Микены».

В «бесконечном», по его же определению, послании отцу осенью 1924 года Пастернак, неожиданно (поэт особо ценил такие странные, никак не запланированные, «чем случайней, тем вернее» совпадения) оказавшийся неподалеку от дома своего рождения, уже отец годовалого сына, вспоминая себя – годовалым сыном, пишет отцу:

«я пересек Садовую и скоро очутился против бывшей Духовной Семинарии, в Оружейном переулке. (…) Я бродил и бродил там, и ничто моим воспоминаньям не говорило, пока я не пошел по продолженью Оружейного по Божедомскому переулку. Тут недалеко от скрещенья Божедомского с Волконским пер. я все увидел и узнал. Я увидел забор и большое одинокое дерево над ним (из Семинарского сада), и боковую часть сада, и кривизну заворачивающего налево переулка, и увидел так и такими, какими всегда видел в смутном своем воспоминаньи».

Запись, сделанная 13 февраля 1890 года по старому стилю в метрической книге Московской синагоги, свидетельствует: «Сын, имя дано ему Борис» появился на свет 21 месяца шевата, обрезан по слабости 5 месяца адара. Место рождения – Арбатская часть, 2 участок по Оружейному переулку, дом Веденеева. «Отец – запасный младший фейерверкер из вольноопределяющихся, действительный студент Исаак Иосиев Постернак, мать – Райца (она же Роза) Срулева Кауфман (по отцу)».

Леонид Осипович Пастернак познакомился с молодой, но уже известной пианисткой Розалией Кауфман в Одессе, где после окончания Новороссийского университета находился на военной службе.

Жизнь семьи при рождении первенца была скромной: отец только «начинал свою карьеру», по достатку и квартира: в неважном доме в бедноватом районе, – оттуда отец «поведет свой корабль».

Родители – люди южные, пылкие, одесские, а мальчик – северный, появившийся на свет в московских снегах.

Не соблюдая обрядов вероисповедания, Пастернаки сохраняли верность происхождению. Леонид Осипович в свое время ответил директору Училища, князю Львову, что на крещение по конъюнктурным соображениям он не пойдет.

Летом 1890 года – Борису полгода! – из Москвы выселяли евреев-ремесленников.

На семью профессора уже московского Училища живописи, ваяния и зодчества Леонида Осиповича Пастернака (можно сказать, дважды профессорскую – Розалия Исидоровна Кауфман до замужества занимала должность в Одесском отделении Императорского русского музыкального общества) – указ о выселении не распространялся, но «паника среди евреев» такова, что «работать не хочется, – пишет Леонид Осипович жене, отдыхавшей с крошечным сыном у родителей в Одессе. – И куда они денутся, все эти несчастные. Скверно!»

Против дискриминации подняло свой голос общество фабрикантов и заводчиков Московского района, обратившееся к правительству со специальной запиской: «Стеснять свободу, перемещая людей, равносильно тому, чтобы затруднять свободное кровообращение в живом организме».

Леонид Пастернак не ощущал себя изгоем – он был не только принят, но и любим художественно-артистической, музыкальной и литературной московской средой.

Происхождение не стало препятствием ни для работы, ни для дружбы.

Но для того чтобы стать равным среди прочих, необходимо было быть безукоризненным. Безупречным.

Это пришлось рано понять и его первенцу.

«…Я проснулся от сладкой, щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной. Я закричал и заплакал от тоски и страха. Но музыка заглушала мои слезы, и только когда разбудившую меня часть трио доиграли до конца, меня услышали».

Мать вынесла сына из детской в гостиную.

Он запомнил табачный дым, сквозь который мигали свечи, освещавшие мощное тело рояля, красное лакированное дерево струнных, седину Льва Толстого, приехавшего к Пастернакам с дочерьми. «Эта ночь, – запишет незадолго до собственной кончины Борис Пастернак, – межевою вехой пролегла между беспамятством младенчества и моим дальнейшим детством. С ним пришла в действие моя память и заработало сознание, отныне без больших перерывов, как у взрослого».

Ноябрьская, 1894 года, ночь.

У колыбели Пастернака стояли волхвы с дарами.

Дар музыкальный – от матери-пианистки, которую после одного из ее выступлений, еще девочкой, поднял на руки Антон Рубинштейн, воскликнув: «Вот так надо играть!»

Дар изобразительный, пластический – от отца, Леонида Осиповича Пастернака.

И наконец, дар слова – не ото Льва ли Толстого?

Мальчик плачет.

Судьба уже определена – его разбудило траурное трио, поминовение двух великих музыкантов России: Чайковского и Рубинштейна.

Но мальчик может быть утешен: лучшее из возможного ему успело подарить искусство «золотого» века, стремительно уходящего в прошлое.

«Разбуженный Богом», – скажет он затем.

Из купечески-мещанского, застроенного приземистыми домиками Оружейного переулка (дом, где родился поэт, сохранился до сих пор; к сожалению, центр, который мог бы существовать в его стенах или в стенах музея – переделкинской дачи – существует только в мечтах пастернаковедов России и всего мира) Пастернаки переезжают на роскошную, с зеркальными витринами на первых этажах новеньких доходных домов в стиле модерн, Мясницкую. Квартира семьи профессора располагалась во флигеле внутри училищного двора. Чуть позже, уже в начале двадцатого века, Пастернаки переедут в главное здание, где для них будет оборудована новая квартира, предоставленная профессору бесплатно. Училище состояло в ведении Министерства Императорского двора, его попечителем был великий князь Сергей Александрович (главное здание училища, где при Екатерине находилась масонская ложа, сохранилось, несмотря на пожар 1812 года).

Источник : http://modernlib.ru/books/natalya\_borisovna\_ivanova/boris\_pasternak\_vremena\_zhizni/read\_2/